

(...) она почувствовала внутри себя трепет новой, зарождающейся жизни... (...) Что это значило? Неужели же... На этом слове оканчивалась рукопись» (С, 13, 75).

При всей внутренней композиционной законченности повествование остается открытым, недосказанным, что усиливается заключительным эпизодом с портретом, неприметно окрашенным авторской иронией или лукавой усмешкой: святость-то утверждается под звуки греховной торжествующей мелодии. Святая Цецилия, как известно по преданию и картине Рафаэля, на небесах внимает ангельскому пению. В повести преднамеренно устраняется возможность какого-либо определенного суждения о происходящем (особенность поэтики позднего Тургенева). В то же время в ней неуловимо ощущается соприкосновение с гетевской утопической идеей общечеловеческой гармонии, западно-восточного синтеза. За восточной орнаментикой и стилизацией (восточная мелодия, орган и скрипка, Св. Цецилия и т. д.) вместе с авторским голосом скрыт и многозначный философско-этический смысл повести, созвучный газелям Хафиза, стихотворениям Гете («Блаженное томление») в «Книге певца» и «Книге Зулейки» в «Западно-восточном диване». Не потому ли сам Тургенев опасался прямолинейных аллегорий, связанных с «Песней»? А современники (за малыми исключениями), восхищаясь преимущественно поэтической фантазией автора, не разгадали в повести общечеловеческой мысли о трагическом и идеальном в судьбе человека, мысли, скрытой за символикой слова, приметой художественного мира позднего Тургенева.

В. Е. Ветловская

СПОСОБЫ ЛОГИЧЕСКОГО ОПРОВЕРЖЕНИЯ ПРОТИВНИКА В «ПРЕСТУПЛЕНИИ И НАКАЗАНИИ» ДОСТОЕВСКОГО

Существует распространенное мнение о том, что Достоевский, споря со своими героями, отрицателями и бунтарями, оставляет им всю логическую убедительность рациональных построений, что несогласие автора с идеологическим противником (тем или иным героем романа) по необходимости и главным образом выражается на уровне внелогических, внерациональных положений. На стороне героев оказывается доказуемая и доказанная истина, а на стороне автора — его сугубо личные симпатии, т. е., в сущности, не столько убеждения, сколько предубеждения. При этом нередко ссылаются на известное признание Достоевского в одном из писем 1854 года: «...я сложил в себе символ веры, в котором всё для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной».¹ Заключительные слова признания обычно воспринимаются так, будто мысль, что

¹ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1985. Т. 28. Кн. 1. С. 176. Далее ссылки на это издание даются в тексте, первая цифра — том, вторая — страница. Ср. слова Шатова Ставрогину в романе «Бесы»: «...не вы ли говорили мне, что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной?» (10, 198). Затем слова Достоевского в набросках возражения К. Д. Каверину (1881 год): «Добро — что полезно, дурно — что не полезно. Нет, то, что любим. Все Христовы идеи оспоримы человеческим умом и кажутся невозможными к исполнению. Подставлять ланиту, возлюбить более себя. Помилуйте, да для чего это? Я здесь на миг, бессмертия нет, буду жить в мою (— — —). Нерасчетливо (...) Позвольте уж мне знать, что

истина вне Христа (не только в романах Достоевского, но и вообще) уже доказана. Но ведь это не так.

В черновых заметках к роману «Преступление и наказание» Достоевский записывает главную идею, передающую «православное воззрение»: «Нет счастья в комфорте, покушается счастье страданием. Таков закон нашей планеты (...) Человек не рождается для счастья. Человек заслуживает свое счастье, и всегда страданием. Тут нет никакой несправедливости, ибо жизненное знание и сознание (т. е. непосредственно чувствуемое телом и духом, т. е. жизненным всем процессом) приобретается опытом pro и contra, которое нужно перетащить на себе» (7, 154—155). Путь человека к счастью, по мысли Достоевского, является одновременно и путем выяснения истины, воспринимаемой «знанием и сознанием» в результате мучительного «опыта pro и contra». Ведь представление о том, что счастье заключается в материальном благополучии («в комфорте»), — только расхожее заблуждение. Однако там, где речь идет об истине, добываемой «опытом pro и contra», речь идет о логике.

В пределах небольшой статьи невозможно показать всю систему логических аргументов автора «Преступления и наказания», направленных против теоретических построений главного героя, занятого проблемой личного и общего счастья. Поневоле приходится выбирать. Остановимся на нескольких моментах — методе доказательства, избранном Достоевским в полемике со своим противником (этот метод является общим для всех романов писателя); логическом итоге, к которому этот метод ведет, и некоторых аргументах.

Опровергая противника и утверждая наиболее глубокие и важные идеи, Достоевский пользуется, как правило, методом косвенного доказательства. В математике он называется доказательством от противного. Суть его в следующем: из двух противоречащих суждений: А (здесь — суждение автора) и В (суждение его героя) — является истинным либо первое, либо второе. Если доказана ложность одного из противоречащих друг другу суждений, истинность второго разумеется сама собой. В риторике такой способ опровержения противника именуется доводом ex concessis (доводом из заимствования). Он предполагает временную уступку противнику (согласие с тем или иным его утверждением) и такое развитие его идеи, которое в логическом итоге оборачивается очевидной нелепостью, абсурдом. Поэтому иногда весь этот способ опровержения чужой и доказательства собственной мысли называется по его итогу — *reductio ad absurdum* (сведение к абсурду). У Достоевского *reductio ad absurdum* служит излюбленным приемом полемики.

Но для начала подчеркнем то важнейшее положение в размышлениях героя-антагониста, тот пункт, относительно которого Достоевский никогда не спорит со своим противником, — напротив, неизменно соглашается. Это касается мысли о неблагообразии мира, того порядка вещей, при котором проявляются и сплошь и рядом торжествуют многообразные формы зла.²

расчетливо, что нет» (27, 56). «Подставить ланиту, любить больше себя — не потому, что полезно, а потому, что нравится, до жгучего чувства, до страсти». И сразу же далее (в виде уступки, полемического допущения возможной крайности): «Христос ошибался — доказано! Это жгучее чувство говорит: лучше я останусь с ошибкой, со Христом, чем с вами» (27, 57). Но истина все-таки не «с вами», ср. слова старца Зосимы в «Братьях Карамазовых»: «А насмешников спросить бы самих: если у нас мечта, то когда же вы-то воздвигнете здание свое и устроитесь справедливо лишь умом своим, без Христа? (...) Воистину у них мечтательной фантазии более, чем у нас. Мыслят устроиться справедливо, но, отвергнув Христа, кончат тем, что зальют мир кровью, ибо кровь зовет кровь, а извлекший меч погибнет мечом. И если бы не обетование Христово, то так и истребили бы друг друга (...) так что последний истребил бы предпоследнего, а потом и себя самого» (14, 288).

² Отвечая на критические отзывы Н. К. Михайловского, Достоевский в 1873 году писал: «Смею уверить г-на Н. М., что „лик мира сего“ мне самому даже очень не нравится» (21, 157).

Полемика возникает там, где речь заходит о путях переустройства мира. Один путь (его и отстаивает герой-антагонист) имеет в виду революционное, насильственное преобразование общества; другой (на нем настаивает автор) исключает насилие и предполагает преобразование мира на основе любви, милосердия, сострадания, на основе тех истин, которые открыты людям в учении Христа. Эти-то две возможности изменения «лика мира сего» (путь насилия или путь любви) и оказываются в ситуации противоречащих друг другу суждений, в той ситуации, где ложность одного суждения означает истинность другого. Разумеется, ситуация *или... или* (истинно либо то, либо это) не исчерпывается проблемой путей переустройства мира, как они представлены в романах Достоевского. Говоря об этих путях, мы взяли для иллюстрации теоретического соображения лишь самый простой, а вместе с тем и самый существенный пример, существенный потому, что он указывает общее направление, в котором движется мысль художника. По отношению к приведенному примеру все остальные аргументы в том же роде и не том же роде будут более или менее областью детализации и конкретных наблюдений.

В центре повествования о Родионе Романовиче Раскольникове находится совершенное им преступление — убийство и ограбление старухи-процентщицы. Сложная мотивировка этого злодеяния (побуждение к нему не ограничивается какой-нибудь одной причиной, а объединяет несколько мотивов, на первый взгляд довольно слабо друг с другом связанных) рисует и преступление, и преступника сразу в трех планах.

Во-первых, убийство и ограбление старухи-процентщицы — уголовное преступление. И в таком случае Раскольников, убийца и грабитель, — уголовный преступник.

Во-вторых (и в более общем плане), это сведенный к минимуму вариант социальной революции, которая является не чем иным, как насильственным перераспределением богатств, и на практике означает то же убийство и ограбление (какими бы словами это ни называлось), только в более широких и впечатляющих масштабах. Раскольников в таком случае — потенциальный революционер. Не случайно о нем говорится в романе (слова Разумихина) как о возможном «политическом заговорщике» (6, 340, 341).

И в том и в другом плане неблагоприятные действия оправдываются высокой целью: несчастье одного (немногих) искупается счастьем многих (всех других).

В-третьих (и в самом общем плане), убийство и ограбление — не что иное, как страшный грех и преступление против Господа Бога, идущий вразрез (если пока оставить в стороне все остальное) с известными заповедями — «Не убий», «Не укради» (шестая и восьмая заповеди из десяти, начинающихся словами: «Аз есмь Господь Бог твой, да не будут тебе бози инии, разве Мене»). И тогда Раскольников оказывается носителем атеистической идеи, богоотступником, богоборцем.

Таким образом, то, что, казалось бы, идет в простом и, по-видимому, случайном ряду (герой-отрицатель у Достоевского всегда и революционер, и атеист), на самом деле внутренне тесно связано логической необходимостью.

Преступление Раскольникова теоретически, рационально обосновано. Герой руководствуется логикой, которая ему представляется безупречной: «... всё, что решено в этот месяц, ясно как день, справедливо как арифметика» (6, 50). Но решения и вычисления Раскольникова не учитывают всех, вернее, важнейших для него возможностей, всех или важнейших реальных фактов. Разумихин говорит: «Логика предугадает три случая, а их миллион!» (6, 197). Разумихин говорит это в контексте, который компрометирует логику вообще. Но такая компрометация несерьезна. Выказывание героя означает только, что есть логика и логика. Одна предугадывает «три случая», другая предусматривает настолько широкое поле возможностей, что оно способно вместить любую случайность. Само собой понятно,

что смысл и направленность логических заключений там и тут никак не могут совпадать. И в этом все дело.

Теоретические построения Раскольникова опираются на недостаточные основания и потому ведут к поспешным и неправильным обобщениям. Его логика ущербна. Именно поэтому она оборачивается «казуистикой», ср.: «...весь анализ, в смысле нравственного разрешения вопроса, был уже им покончен: казуистика его выточилась, как бритва, и сам в себе он уже не находил сознательных возражений» (6, 58). Логика автора, полемизирующего со своим героем, напротив, строится на достаточно прочном фундаменте и предусматривает гораздо больше возможностей. Именно поэтому она в произведении неопровержима.

Приведем пример из самого начала романа. Размышляя на тему, почему «так легко отыскиваются (...) почти все преступления и так явно обозначаются следы почти всех преступников» (еще до того, как герой пошел на «дело»), Раскольников в конце концов решил, что главная причина заключается в самом преступнике. В момент совершения преступления он «подвергается какому-то упадку воли и рассудка» как раз тогда, когда «наиболее необходимы рассудок и осторожность. По убеждению его (Раскольникова. — В. В.) выходило, что это затмение рассудка и упадок воли охватывают человека подобно болезни (...) затем проходят так же, как проходит всякая болезнь. Вопрос же: болезнь ли порождает самое преступление или само преступление, как-нибудь по особенной натуре своей, всегда сопровождается чем-то вроде болезни? — он еще не чувствовал себя в силах разрешить.

Дойдя до таких выводов, он решил, что с ним лично, в его деле, не может быть подобных болезненных переворотов, что рассудок и воля останутся при нем, неотъемлемо, во всё время исполнения задуманного, единственно по той причине, что задуманное им — „не преступление“...» (6, 58—59). Если бы Раскольников действовал в соответствии со своими рациональными заключениями, он должен был бы повернуть от дома старухи-процентщицы сразу же, как только он до него дошел, а может быть, и раньше: «когда пробил час, всё вышло совсем не так, а как-то нечаянно, даже почти неожиданно» (6, 59). В действиях Раскольникова не обнаружилось ни особого рассудка, ни воли, побеждающей все препятствия. Вместо этого вдруг явилось самое странное и легкомысленное суеверие: «...Раскольников в последнее время стал суеверен. Следы суеверия оставались в нем еще долго спустя, почти неизгладимо. И во всем этом деле он всегда потом склонен был видеть некоторую как бы странность, таинственность, как будто присутствие каких-то особых влияний и совпадений» (6, 52).

Обратим внимание на те случайности, которые подтолкнули Раскольникова к его «новому» и роковому шагу (ср.: «Гм... да... всё в руках человека, и всё-то он мимо носу пронесит, единственно от одной трусости... это уж аксиома... Любопытно, чего люди больше всего боятся? Нового шага, нового собственного слова они всего больше боятся...» — 6, 6) и в которых герой усмотрел какое-то указание судьбы, как бы предопределение свыше.

Еще зимой, побывав впервые у старухи-процентщицы и почувствовав к ней «непреодолимое отвращение» (6, 53), Раскольников, зайдя в трактир, услышал разговор студента и молодого офицера как раз об этой старухе и именно в том направлении, которое было чрезвычайно близким Раскольникову. Незнакомый герою студент излагал его «арифметическую теорию»: для благополучия, для счастья многих позволительно убить и ограбить одного «без всякого зазору совести» (6, 54). Рассуждения студента Раскольников услышал в тот момент, когда «странная мысль наклеивалась в его голове, как из яйца цыпленок, и очень, очень занимала его» (6, 53). «Раскольников был в чрезвычайном волнении. Конечно, всё это были самые обыкновенные и самые частые, не раз уже слышанные им (...) молодые разговоры и мысли. Но почему именно теперь пришлось ему выслушать именно такой разговор и такие мысли, когда в собственной голове его только что

зародились... *такие же точно мысли?* И почему именно сейчас, как только он вынес зародыш своей мысли от старухи, как раз и попадает он на разговор о старухе?.. Станным всегда казалось ему это совпадение. Этот ничтожный, трактирный разговор имел чрезвычайное на него влияние при дальнейшем развитии дела: как будто действительно было тут какое-то предопределение, указание...» (6, 55).

Но почему, спрашивается, Раскольникову показалось странным такое «совпадение» (ведь он сам говорит, что «всё это были самые обыкновенные и самые частые» разговоры, «не раз уже слышанные»...) и почему вдруг «трактирный разговор» оказал на него такое «чрезвычайное (...) влияние»? При чем здесь «предопределение» и «указание»? На самом деле странен не услышанный героем «трактирный разговор» и не это «совпадение» (оно в подобной ситуации вполне возможно), гораздо более странно то, что Раскольников увидел в них «какое-то предопределение, указание». Если бы герой вполне владел своей волей и рассудком, ему было бы чрезвычайно важно задуматься именно на эту тему: «Конечно», это «случайность, но он вот не может отвязаться теперь от одного весьма необыкновенного впечатления, а тут как раз ему как будто кто-то подслуживается» (6, 53). Так вот: почему вдруг какая-то «случайность» выросла в сознании героя до размеров «предопределения»? и кто ему тут «подслуживается»?

Те же самые вопросы возникают и по поводу другой «случайности», которая окончательно отбросила в сторону все колебания Раскольникова и толкнула его на страшный путь: «...он никак не мог понять и объяснить себе, почему он (...) которому было бы всего выгоднее возвратиться домой самым кратчайшим и прямым путем, воротился домой через Сенную площадь, на которую ему было совсем лишнее идти. Крюк был небольшой, но очевидный и совершенно ненужный. Конечно, десятки раз случалось ему возвращаться домой, не помня улиц, по которым он шел. Но зачем же, спрашивал он всегда (...) такая важная, такая решительная для него и в то же время такая в высшей степени случайная встреча на Сенной (...) подошла как раз теперь к такому часу, к такой минуте в его жизни, именно к такому настроению его духа и к таким именно обстоятельствам, при которых только и могла она, эта встреча, произвести самое решительное и самое окончательное действие на всю судьбу его? Точно тут нарочно поджидала его!» (6, 50—51). Раскольников узнал, что наавтра, в семь часов вечера, Лизаветы не будет дома, и старуха останется в квартире совсем одна. Раскольников вернулся домой «как приговоренный к смерти. Ни о чем он не рассуждал и совершенно не мог рассуждать; но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него более ни свободы рассудка, ни воли и что всё вдруг решено окончательно» (6, 52). Так сказать, сама судьба решила. А между тем (не говоря о прочем), откуда вдруг герой в точности узнал, что все будет именно так, как он услышал? Ср.: «Конечно, если бы даже целые годы приходилось ему ждать удобного случая, то и тогда, имея замысел, нельзя было рассчитывать наверное, на более очевидный шаг к успеху этого замысла, как тот, который представлялся вдруг сейчас. Во всяком случае, трудно было бы узнать накануне и на pewno, с большею точностью и с наименьшим риском, без всяких опасных расспросов и разысканий, что завтра, в таком-то часу, такая-то старуха, на которую готовится покушение, будет дома одна-одинехонька» (6, 52). Но ведь Лизавета могла передумать и не уходить из дома. Могла все-таки доложить о своих делах старухе, как она всегда и делала (ср.: «Да вы на сей раз Алене Ивановне ничего не говорите-с (...) а зайдите к нам не просясь» — 6, 51), и старуха могла ее не пустить. Могла, просясь ли, не просясь ли, уйти из дома раньше или позже. Могла, как это и произошло, вернуться и застать Раскольникова на месте преступления. А ведь появление Лизаветы сводило на нет все расчеты героя и совершенно обесмысливало его «арифметическую теорию». Короче говоря, много было разных возможностей, которые легко было

предусмотреть, если бы герой вполне владел своей волей и рассудком. И все эти возможности лишали встречу на Сенной того особого и фатального значения, которое придавал ей Раскольников.

Если и было герою «какое-то предопределение, указание», то их следовало разглядеть в странных снах, увиденных Раскольниковым как раз перед тем, как он, свернув в сторону с прямой дороги и пустившись в «крюк», пошел на лишнее и лишое «дело». В одном, напомнившем ему об ужасном впечатлении, вынесенном им из детских лет и связанном с убийством немощной и старой лошаденки: «„Боже! — воскликнул он, — да неужели ж, неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп... буду скользить в липкой, теплой крови, взламывать замок, красть и дрожать; прятаться, весь залитый кровью... с топором... Господи, неужели?“ (...) Он почувствовал, что уже сбросил с себя это страшное бремя, давившее его так долго, и на душе его стало вдруг легко и мирно (...) Несмотря на слабость свою, он даже не ощущал в себе усталости. Точно нарыв на сердце его, нарывавший весь месяц, вдруг прорвался. Свобода, свобода! Он свободен теперь от этих чар, от колдовства, обаяния, от наваждения!» (6, 50). И в другом сне, напомнившем герою о красоте и чистоте первозданной природы, созданной для утоления любой естественной человеческой жажды и еще не испорченной порочным, разрушительным вмешательством чьих бы то ни было «дел»: «...всего чаще представлялось ему, что он где-то в Африке, в Египте, в каком-то оазисе. Караван отдыхает, смиренно лежат верблюды; кругом пальмы растут целым кругом; все обедает. Он же всё пьет воду, прямо из ручья (...) И прохладно так, и чудесная-чудесная такая голубая вода, холодная, бежит по разноцветным камням и по такому чистому с золотыми блестками песку...» (6, 56).³ Ср. с этими грезами картину «облитой солнцем необозримой степи», которая (уже в эпилоге) напоминает Раскольникову «века Авраама и стад его» и которая предупреждает затянувшееся возвращение героя на прямую дорогу (6, 421).

Наконец, «предопределение» и «указание» можно было разглядеть даже в том обстоятельстве, что Раскольников самым странным и неожиданным образом едва не просрал и не упустил вообще свой «удобный случай» (ср.: 6, 56), и т. д.

Никакая судьба и никакие «случайности» не подстерегают на самом деле Раскольникова на его дороге с тем, чтобы вести его только одним и роковым путем. Те «случайности», которые принимают для него вид принудительный и необходимый, герой в действительности выбирает сам — выбирает именно то, что соответствует «настроению его духа» и его «обстоятельствам». Раскольников видит только то, что совпадает с его дурно направленной волей, согласившейся на преступное «дело», и рассудком, служащим оправданию этого зла (ср. в дальнейшем слова Свидригайлова: «Разум-то ведь страсти служит» — 6, 215). Раскольникова ведет по его кривой дороге не «предопределение» и не «судьба» (он сам выбирает эту «судьбу»), а большая воля и помутившийся разум. Иначе говоря, героем движет греховное состояние его души и те злые силы, которые в этом состоянии ему «подслуживаются» и руководят им вплоть до самого преступления: «Последний же день (...) подействовал на него почти совсем механически: как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой, неотразимо, слепо, с неестественной силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в нее втягивать» (6, 58).

Преступление, этот тяжкий грех, созревает в душе героя в полном согласии с тем, как это описывается в православной литературе: «Зло вошло в мир через волю. Это — не „природа“ (...) а „состояние“ (...) Для святого Григория Нисского

³ О лермонтовских реминисценциях в этих грезах см.: Назиров Р. Г. Реминисценция и парафраза в «Преступлении и наказании» // Достоевский. Материалы и исследования. 2. Л., 1976. С. 94—95.

грех — болезнь воли, которая ошибается, принимая за доброе его призрак». ⁴ По убеждению святого Иоанна Златоуста, «никто не бывает злым по необходимости» ⁵ и никто не бывает преступным по «природе»: «...преступление зависит не от природы, а от собственной воли». ⁶ В другом месте он высказывает ту же мысль со ссылкой на Христа, который «нигде не осуждает плоть» (т. е. природу), «но везде обвиняет развращенную волю». ⁷ При этом грех и преступление овладевают человеком постепенно: «В душе нашей несомненно есть некоторый прирожденный стыд греха и уважение к добру, и невозможно ей вдруг дойти до такого бесстыдства, чтобы отринуть все зараз, напротив, она нисходит до крайней погибели неприметно, мало-помалу...». ⁸ «В православной аскетике, — пишет В. Н. Лосский, — имеются специальные термины для обозначения различных воздействий, оказываемых духами зла на душу человека. Это „помыслы“ (...) или образы, подымающиеся из низших областей души (...) затем „прилог“ (...) не то, чтобы „искушение“, а наличие посторонней мысли, пришедшей извне и введенной враждебной волей в сознание. „Это не грех, — говорит Марк Подвижник, — но свидетельство нашей свободы“. Грех начинается лишь при „сочетании“ (...) при прилеплении ума к приводящей мысли или образу, или, вернее, он — некоторый интерес или внимание, указывающие уже на начало согласия с вражеской волей, ибо зло всегда предполагает свободу, иначе оно было бы лишь насилем, овладевающим человеком извне». ⁹

Итак, болезнь, которую Раскольников (вопреки своим расчетам) испытывает, как и всякий преступник, и которую он не в силах определить, — не что иное как состояние греха. Эта болезнь начинается с злого помысла и, достигая постепенно крайней степени (когда этот помысел целиком захватывает душу), доходит до горячечного бреда, до мономании, доходит, наконец, до «дела». «И делаемся мы, таким образом, подвластными (дьяволу. — В. В.) за опущение малого, что однако ради Христа почтено достойным великого пощения, как написано: „кто не покоряет воли своей Богу, тот попадает под иго сопернику Его“». ¹⁰ В своем больном состоянии герой действует своей и не своей волей, в своем и не в своем рассудке. Ср.:

«— О, молчите, молчите! — вскрикнула Соня (...) — От Бога вы отошли, и вас Бог поразил, дьяволу предал..

— Кстати, Соня, это когда я в темноте-то лежал и мне всё представлялось, это ведь дьявол смущал меня? а?

— Молчите! Не смейтесь, богохульник, ничего, ничего-то вы не понимаете! (...)

— Молчи, Соня, я совсем не смеюсь, я ведь и сам знаю, что меня черт тащил» (6, 321).

Вот почему герой в известной мере прав, точнее, прав как раз наполовину, когда далее говорит: «...старушонку эту черт убил, а не я...» (6, 322). Прав наполовину потому, что убивали они все-таки вместе.

В «деле» Раскольникова важен выбор. Решая проблему собственного и чужого счастья, герой мог воспользоваться лишь двумя возможностями (каким бы ни

⁴ Лосский В. Н. Очерк мистического богословия восточной церкви // Лосский В. Н. Очерк мистического богословия восточной церкви. Догматическое богословие. М., 1991. С. 98.

⁵ Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского избранные творения. Толкование на святого Матфея Евангелиста. М., 1993. Т. 2. С. 812. Ср.: «Зло существует не по необходимости» (Там же. С. 609).

⁶ Там же. С. 607.

⁷ Там же. Т. 1. С. 194.

⁸ Там же. Т. 2. С. 857.

⁹ Лосский В. Н. Указ. соч. С. 99.

¹⁰ Инок Каллиста и Игнатия Ксанфопулов наставление безмолвствующим, в сотне глав // Добротолюбие. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1992. Т. 5. С. 342.

было в действительности их число): одна, исключая зло, вела Раскольникова прямой дорогой; другая, отдавая его в руки дьявола, заставляла блуждать и заблуждаться. С тех пор как выбор был сделан, события развиваются в логике естественных следствий той ошибки, которая побуждала принимать «за доброе его призрака», т. е. в логике греха, основанного на ложных теориях и неправильных расчетах. Иначе и не могло быть. Ведь как бы ни были сложны и многосторонни теоретические построения героя, они в конечном счете сводились к простенькому заключению — к оправданию софизма, согласно которому грех не есть грех, преступление не есть преступление.

Разумеется, жизнь тотчас показала реальную цену этого софизма, поставив все на свои места. Ведь совершенное убийство и ограбление, чем бы они ни оправдывались, уже нельзя отменить и назвать иначе, чем убийством и ограблением, а того, кто совершил то и другое (каковы бы ни были его достоинства), нельзя назвать иначе, чем убийцей и грабителем. Со всеми вытекающими отсюда результатами. Следуя этим соображениям, Свидригайлов с пренебрежительным высокомерием и говорит о «теориях» Раскольникова (об одной: «своего рода теория», о другой: «так себе теория» — 6, 378) и никак не может понять странной логики героя, позволяющего себе убивать и грабить и негодующего на тех, кто стоит у дверей и подслушивает: «...но, однако, что ж это такое? Я, может, совсем отсталый человек и ничего уж понимать не могу. Объясните, ради Бога, голубчик! Просветите новейшими началами.

— Ничего вы не могли слышать, врете вы всё!

— Да я не про то (...) я про то, что вы вот всё охаете да охаете! Шиллер-то в вас смущается поминутно. А теперь вот и у дверей не подслушивай. Если так, ступайте да и объявите по начальству, что вот, дескать, так и так, случился со мной такой казус: в теории ошибочка небольшая вышла. Если же убеждены, что у дверей нельзя подслушивать, а старушенок можно лущить чем попало, в свое удовольствие, так уезжайте куда-нибудь поскорее в Америку! Бегите, молодой человек! Может, есть еще время» (6, 373).

По мысли Достоевского (мы опускаем анализ других его аргументов ради заключения, прямо связанного с тем, что уже сказано), все «теории», все «высокое и прекрасное» («Шиллер-то, Шиллер-то» в разных обличьях) не имеют никакого отношения к преступлению Раскольникова, к этому «общему» и частному «делу». Свидригайлов рассуждает более последовательно, чем недоучившийся студент юридического факультета. И он прав: в «деле» Раскольникова самое главное — разрешение преступления «по совести» (т. е. без совести) и само это преступление, а уж как оно мотивировано (хотя бы и «удовольствием»), значения не имеет. И даже так: в злодействе, ничем не украшенном и просто названном злодейством, меньше подлости, чем в злодействе, обряженном в благовидные теории и покровы. Достоевский очень основательно и подробно доказывает мысль, что все соображения об «общем счастье» и вся возвышенная грусть здесь притянуты к преступлению кое-как и на живую нитку.

Если так, то говорить о «новом слове» и «новом» шаге (как это делает Раскольников по поводу своего и не своего «дела») нельзя. Все это было бы из области «высокого и прекрасного» (ведь понятие «новый» имеет у героя оценочный и именно положительный смысл). Нужно говорить о грехе и злодействе, которых и без теорий Раскольникова вполне достаточно в грешном мире. Достоевский приводит героя к абсурду, ибо с возмущения против зла и начинаются его поиски особой, благодетельной для себя и для человечества дороги.

Именно потому (скажем в сторону и отвлекаясь), что высокие теории, оправдывающие преступление (грабеж и убийство), не имеют на самом деле никакого к нему отношения, эти теории при желании могут меняться. Совершается ли грабеж и убийство под флагом социализма (для счастья многих) или под флагом

капитализма, светлого буржуазного будущего (для благополучия кучки) — какая разница? Неизменным остается только одно — готовность заблудших душ совершать злодеяния и сами эти злодеяния. Вот и все. Иначе говоря, Достоевский остается для нас пророком и в настоящий момент. Правда, он вряд ли мог предположить, что все эти «теоретические» метаморфозы будут испытывать и эти злодеяния совершать одни и те же люди, да еще в таком числе! А если иметь в виду их «подвиги» (т. е. грабеж и убийство), то — и в таких размерах!